

## «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД» БИОГРАФИИ ПАСТЕРНАКА

Поздние тексты Пастернака – последний стихотворный цикл «Когда разгуляется» и автобиографический очерк «Люди и положения»(1956) - при несомненной сравнительной «простоте» художественного языка, если читать их на фоне первых стихотворных книг и повести «Охранная грамота», тем не менее требуют и реального и историко-литературного комментария, равно как нуждаются в интерпретации.

Так, в очерке «Люди и положения» (гл. 10: «Девятисотые годы») автор, описывая свои первые шаги в московской литературно-музыкальной среде, вспоминает о кружке молодых поэтов и музыкантов, собиравшемся в доме поэта Ю. П. Анисимова на Разгулье. Пастернак, по его собственным словам, попал в кружок не в качестве поэта, а качестве музыканта-импровизатора:

На территории одного из новых домов Разгулья во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин<sup>1</sup>, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, держа мать и тетку уроками и своей восторженной прямоотой и неистовой убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К.Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неизвестным.

У кружка было свое название. Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность

---

<sup>1</sup> Дурылин в своем стихотворении «Юлиану Павловичу Анисимову» 1920-х годов (?) вспоминал эти же собрания на Разгулье: «Как поздний темно-рядный грозд / Над виноградником увялым, / Склонилась надо мной, усталым, / Ты память вешнесветных звезд. // Оне над Разгульем шумным / Своей опаловой игрой / Нам путь прямими голубой, / От хмеля юности безумным. // И молча сказывали сказки / Про юность, гибель и метель, / Когда в душе от «Снежной маски» / Вилась медвяная метель. // И в терпкой неге вешней боли, / В **хмелю от песен и утрат**, / На маленькие антресоли / Я шел к тебе, весенний брат. // И элегические бредни / Не сжатые в оковы строк, / Вдруг голос прерывал Господний: / “Признаться, ведь талантлив Блок”. // И отзыв в зрелом благодушии / Подав, полковник, твой отец, / Раскашлявшись, бранил удущье: “Какая гадость, мой творец!” // И снова молодели дали / Землей впиваемых снегов, / Где наши первые **печали** / Поили первоцвет стихов».

ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами<sup>2</sup>.

Гурьев был из Саратова<sup>3</sup>. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В «Сердарде» бывали поэты, художники, Б. Б. Красин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Мусажета» А. М. Кожебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

*Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.*

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам гроыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», – говорил кто-нибудь на языке времени.

[Пастернак: IV, 316-317]

---

<sup>2</sup> Ср. с рассказом о происхождении названия знаменитого литературного объединения 1810-х годов в мемуарах Вигеля: «Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием «Видение в какой-то ограде» [Арзамас 1994: I, 74]. Ассоциации с «Арзамасом» Пастернаку могло подсказать соседство локусов: на Старой Басманной улице у самого Разгуляя располагался дом «арзамасского старосты» Василия Львовича Пушкина.

<sup>3</sup> Пастернак здесь неточен – Гурьев родился не в Саратове, а в Васильевке Бугурусланского уезда Оренбургской губернии, впрочем, может быть, неточность и значима – ср. с информацией, приводимой в «Книге памяти жертв политических репрессий Саратовской области»: «**Гурьев Аркадий Иванович**, 1881 года рождения, уроженец д. Васильевка Бугурусланского района Куйбышевской области. Проживал в г. Саратове. Безработный. Арестован 30.07.42 г. СПО УНКВД по Саратовской области. Осужден ОС НКВД СССР 10.07.43 г. за проведение а/с агитации к 5 годам высылки в Кустанайскую область. Реабилитирован 17.08.89 г. Саратовской областной прокуратурой». - Списки жертв политических репрессий Саратовской области // [www.memo.ru/memory/saratov/d040.htm](http://www.memo.ru/memory/saratov/d040.htm). По другой информации, идущей от родственников Гурьева, он был арестован в конце 1930-х гг. и в 1943 г. приговорен к ссылке в Казахстан, где вскоре был расстрелян. (Благодарю А.Л. Соболева и Р.Г. Лейбова за неоценимую помощь в поиске информации).

В рассказе о «Сердарде» не может не обратить на себя внимания характеристика к 1950-м годам практически никому не известного Аркадия Гурьева. По рассказам его внука, Геннадия Григорьевича, Гурьев встречался в 1900-х годах с Ф. Шаляпиным, который рекомендовал его к поступлению в Московскую консерваторию; в какой-то момент Гурьев был стипендиатом московского булочника Филиппова. Из воспоминаний Д. Бурлюка известно, что он дружил с художником Якуловым, его стихи упоминаются в переписке В. Ходасевича, есть еще несколько обрывочных сведений, которые свидетельствуют о его присутствии в художественной, театральной и литературной жизни 1910-х годов.

Для разъяснения пастернаковской оценки «Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина» стоит обратиться к единственной книге стихов Гурьева «Безответное», вышедшей в том же 1913 году, что и первые книги хозяина дома – Анисимова и самого Пастернака.

Об окружении Аркадия Гурьева можно судить по многочисленным посвящениям стихотворений его книги. Часть адресатов—это называемые Пастернаком участники «Сердарды»: композитор Борис Красин (брат крупного будущего крупного советского деятеля), хозяин – поэт Юлиан Анисимов, издатель А. М. Кожебаткин, Сергей Дурылин, а также поэт Валериан Бородаевский, Андрей Белый, московский музыковед Николай Павлович Суворовский, нижегородский ботаник (?) Ф. С. Ненюков, художник Н. П. Ульянов.

Обложка книги Гурьева была выполнена художницей Натальей Гончаровой, которой также посвящено одно из стихотворений.

Обратим внимание, что многочисленные посвящения в вышедших в том же 1913 году книгах С. Боброва, Ю. Анисимова и самого Пастернака, пересекаются с гурьевскими: Бобров посвящает свои стихи Б. Н. Бугаеву (А. Белому), Н. С. Гончаровой, С. Раевскому (С. Н. Дурылину), Ю. П. Анисимову, Н. Асееву; Анисимов – Б. Красину, Ф. Ненюкову, С. Дурылину, К. Локсу; Пастернак – К. Локсу, Ю. Анисимову и его жене В. Станевич, С. Боброву, Н. Асееву. Сходный набор адресатов обнаруживается в книге «Ночная флейта» (1914) близкого к этому кругу Николая Асеева: Н. С. Гончаровой, Ю. Анисимову, В. Станевич, К. Локсу, С. Боброву, Б. Пастернаку.

Несколько мотивов в стихах Гурьева обнаруживают сходство с системой образов первой книги Пастернака «Близнец в тучах», где во многих стихотворениях (особенно отчетливо в «Я рос. Меня как Ганимеда» и в «Эдеме») появляется тема поэтического творчества как вознесения и пребывания в небе, среди звезд. У Гурьева близкий мотив находим в стихотворении «Звездная смерть»:

Я, возрожденный в светлом пепле...  
Я, погребенный в небесах.  
Моя душа вкушала прах,  
В земле глаза мои ослепли...

Но вот взлетел легко-легко  
Над углубленными полями:  
Сверкая звездными огнями,  
Открылось сердце широко...

Меня недаром выси звали,  
Недаром к ним я тяготел, -  
И с блесками небесных тел  
Глубины сердца совпадали...

Вот упоенный широтой -

Сквозной, невидимый - но яркий -  
Вас озаряю звездной аркой,  
Склоняя лик свой над землей...

Я - возрожденный в светлом пепле.  
Я - погребенный в небесах...  
Дремли, весна, в моих глазах,  
Над миром ночь мою затепли.

[Гурьев: 30]

Схожий мотив обнаруживается в стихотворении Гурьева «В конце»:

Как я к восторгам восходил;  
Как я в раях преображался:  
Узнают все, кто был мне мил,  
С кем я мучительно расстался.

Мы возвратимся вновь в приют –  
Покоя, боли и печали,  
Тревоги радостно умрут...  
**Смежатся звездные** скрижали.

[Гурьев: 57]

И в «Житье бытѣ»:

В отшедших днях, и в упраздненных звездах  
Плыву незрим в мир золотых сеней...  
Гуляю я... По призрачным аллеям, -  
Меж голубых небесных тополей...

[Гурьев: 54]

Возможно, сходны и называемые автором источники поэтического вдохновения. У Пастернака «несли ненастья, сны несли / И расточительные беды / Приподнимали от земли», а у Гурьева:

...Искатель **грусти и беды**,  
Я гость в неожиданной панораме:  
Скрестились черные зонты,  
Как балдахины над гробами.

[Гурьев: 12-13]

Стихотворение Гурьева «Память», в котором проникающий в окно через «занавески» свет освещает умершего, где в 4 стопном ямбе чередуются женские и дактилические рифмы, возможно, отзывается в стихотворении «Август» из стихотворений Юрия Живаго<sup>4</sup> (Как обещало, не обманывая, / **Проникло солнце утром рано** / Косою полосой шафрановою / От занавеси до дивана.) – ср.:

Память  
Сквозь спущенные занавески  
Втекает в гроб мой свет полуденный...  
Незаглушенный в резком блеске –  
Правдив и нежен день мой буденный. –

---

<sup>4</sup> «De Visu» 1994 № 5/6

В душе спокойное сознание  
Того, что я прошел все радости; -  
Во мне весна – воспоминание,  
Слова и пеплы – знаки младости.

\* \* \*

Так. В нескончаемой заботе  
Свершайте, тени, путь назначенный...  
Вы все – гроба свои найдете,  
И в них – цветы и огонь растроченный...

Как я – спокойно погруженный  
В воспоминание настоящего:  
Так ваш восторг – лишь отраженный  
В стихании огня горящего...

[Гурьев: 39]

В маленьком сборнике стихотворений Гурьева бросается в глаза склонность к стихотворным экспериментам и использование неологизмов, напоминающих в первую очередь, наверное, Северянина: «Все, что сияло так *всецветно*»; «Ища *несмысленно-красивых*», «Бессмертных дум и *дневной плесни*», «Мне крыши поют *промоклые*», «*Вцеловался* в сердце мне» и т. п. Обращается он и к опыту «строчного» логаязда, где в нечетных строках использован 3-стопный дактиль, а в четных – 4-стопный ямб, кроме последних 16 и 18 строк, где так же, как и в нечетных, появляется 3-стопный дактиль, но с мужской клаузулой:

Отчуждение  
Б. Б. Красину

Я от земли оторвался  
И вот – иду, как не иду...  
Я лишь на прах опирался...  
Пока искал мою звезду  
Ныне ж – нашедший пустыню –  
Я забываю для мечты...  
В сердце моем отчуждение, -  
Давно утратил я покой.  
В чудное верю виденье  
Блаженной, новой тоской...  
Будто иду: - не иду я! –  
Земли б коснуться я не мог,  
Холод далекий целую  
Ступнями окрыленных ног...  
Чистый восторг вознесений  
Сердцу знаком моему  
В песне веселой весенней  
Я улетаю сквозь тьму...

[Гурьев: 69]

Гурьев экспериментировал с тавтологической рифмой:

В окне весеннем  
Чтоб впустить ее дыханье -  
Растворил свое окно:  
В час блаженного страданья

Я открыл свое окно...  
И вдыхая воздух синий,  
Целовал на нем печать  
Этих гибких, зыбких линий -  
Милых уст ее печать...  
И влюбленных уст исканье  
Уловило след лица -  
След улыбки и дыханья,  
Оттиск юного лица...  
И тоской неисцелимой  
Сладко ранив сердце мне:  
Лик ее, Прошедшей Мимо,  
Вцеловался в сердце мне  
[Гурьев: 47]

В его сборнике мы встречаем и эксперименты с метром: так, в 4-стопном ямбе с рифмовкой ДМДМ обнаруживается пример того, что М. Л. Гаспаров называл «прохожим» размером<sup>5</sup>:

Не избежать былых намерений, -  
Душа желанное найдет:  
Все радостней, и все уверенней  
Иду к забытому - вперед...  
  
Идти к блаженствам неиспытанным -  
Пока не встречено в пути, -  
Что было празднеством рассчитанным  
И что намечено найти...  
  
Могуществом воображения  
Не превзойти ли нищеты! -  
Всем существом хочу свершения -  
Хотя в могиле - красоты...  
  
Былое время не потеряно:  
В пути оно: оно ведет...  
Какое семя не намерено -  
Оно взойдет и процветет.  
  
Уже свершается возможное,  
Пока в душе его несут:  
Дороги чуждые и ложные  
К заветной цели приведут.  
[Гурьев: 66]

Отмеченное Пастернаком определенное сходство стихотворной манеры Гурьева с Маяковским можно разглядеть в его привычке соединять в стихотворениях нарочитые «поэтизмы» со словами и оборотами отчетливо бытовой окраски - «самоваром», «калошами», «не прочь попить чайку». «Сапоги», в которых входят «в душу жилища», могут напомнить «залезание в сапогах на сердце» из «Облака в штанах» или «на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь грязные, в калошах и без калош» в «Нате»:

Дал я святых тайников  
Слуха, где нежно поются

---

<sup>5</sup> Гаспаров М.Л. Метр и смысл. М., 1999. С. 44-45

Песни лучей и цветов...  
Дал я увидеть глазами  
Скрытость и ложь моих глаз.  
Дал заплевать им руками  
С вечностью связанный час...  
Дал им развратными ртами  
В комнату мерзость внести:  
Больно **стуча сапогами,**  
**В душу Жилища войти...**  
[Гурьев: 7]

Сходство с Есениным, также отмеченное Пастернаком, среди стихотворений, вошедших в сборник, можно разглядеть, пожалуй, лишь в «диалоге» с тополем:

Вон домик виднеется ветхий:  
Как листья - отцветшие ставни...  
Кивает загубленной веткой  
Навстречу мне друг мой недавний:

Прощай, тополь! - скоро я сгину: -  
Упрек твой последний приемлю...  
- Забуду земную кручину,  
**Как лягу в холодную землю.**  
[Гурьев: ??]

Поводом для того, чтобы помянуть рядом Есенина и Маяковского, Пастернаку могло послужить и постоянное обращение Гурьева к теме смерти. Кроме уже цитировавшихся выше текстов ср. еще: «Злой жребий досталось мне вынуть / И в смерти преследует хворь», «И каркают злобно вороны / За гробом» [Гурьев: 10], «И опять я смерти чаял - / Невечерних новых чар <...> / Я умру, как снег весенний» [Гурьев: 11], «Мне больно идти по могилам, / Мне больно себя хоронить <...> / Я гордо, я зло умираю / Я вам не открою лица <...> / В отрадные мраки зареюсь / Умру никого не любя» [Гурьев: 15]. Приведем еще стихотворение «В столице»:

Ф.С.Ненюкову  
Сквозь чащу сеющей воды  
Бегу по пляшущей панели...  
Сруится, хлещет с высоты  
На шляпы, пальта и шинели...  
Сквозь тусклой, блеклой суеты  
Идут, смешно толкаясь, пары...  
Калош измоченных следы,  
Блеснув, - проглотят тротуары...  
Как неотступной смерти рты,  
Огромных магазинов стекла...  
В недужных сумерках воды  
Насквозь пальто мое промокло...  
Я все иду, - куда иду,  
Чего ищу в пустыне мира, -  
Пробей, - всверлись, струя в плиту,  
Моим слезам могилу вырой...  
Но поздно. - Никакой беды  
Ни с кем уж больше не случится  
Пусть в грань исподнюю плиты  
Калоша праздная стучится!  
Пускай положены труды,

Чтоб позабыться в споре глупом:  
Увы, - холодные цветы  
Грозят из окон бледным трупам...  
Искатель **грусти и беды**,  
Я гость в неожиданной панораме:  
Скрестились черные зонты,  
Как балдахины над гробами.  
И внемлю голосу воды,  
Как хорам хилой панихиды:  
Под катафалком пустоты  
Спасайтесь, жизни инвалиды...  
Теряйтесь в сумерках воды  
Вы, пешеходы и возницы, -  
Вплоть до погоста, где кресты,  
Тянитесь скучной вереницей...  
[Гурьев: 12-13]

В «Охранной грамоте» Пастернак говорит о поколении московских молодых людей 1910-х годов, которые «нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу» и благодаря силе искусства, «стоявшего за деревьями <...> и по всем бульварам <...> не сошли с ума <...> и не перевешались всем земным шаром». Сам Гурьев, постоянно твердя в своих стихах о смерти, самоубийства не совершил, чем противостоит Есенину и Маяковскому, хотя и они покончили с жизнью уже в другую эпоху и при других обстоятельствах.

Автобиографический очерк «Люди и положения», в котором Пастернак вспомнил об Аркадии Гурьеве, как и стихотворение «Душа» из цикла «Когда разгуляется», оказывается едва ли не в первую очередь поминанием ушедших, старших поэтов: Александра Блока, Андрея Белого, Николая Гумилева; покончивших с собой – Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Паоло Яшвили, погибших («замученных живьем») Тициана Табидзе и других.

По воспоминаниям сына Гурьева, в 1920-1930-е годы он бывал у Пастернака в квартире на Волхонке: они читали друг другу стихи поэтов XIX века, Гурьев пел. Легко можно предположить, что Пастернак узнал и о его аресте в Саратове и скорой гибели. Тогда упоминание Гурьева в одном ряду с Есениным и Маяковским подсвечивает одновременно и судьбы его знаменитых современников, и его собственную.

#### ЛИТЕРАТУРА:

Арзамас - Арзамас: Сборник в 2-х книгах / Под общей редакцией В. Э. Вацура и А. Л. Осповата. М., 1994.

Гурьев - Гурьев А. Безответное. М.: Вельман, [1913].

Пастернак - Пастернак Б. Полное собрание сочинений: В 11 т. М., 2004.